

Воспоминания Захария Александровича Делибаш

Моя автобиография

Писана 12 Февраля 1923 года

1

Вот что говорят мои документы о появлении меня на свет божий: родился января десятого, крещен января 18-го 1867 года, назван Захарием, родители его жители сел. Кильда, Аралкалакского уезда, казенный крестьянин Александр Павлов Делибашев и жена его Елена Моисеевна – оба православного исповедания; восприемником был житель того же села Евгений Луарсабов Мишеладзе, а крестил священник Виссарион Конделаки.

Итак я появился на свет ровно 55 лет тому назад в крестьянской семье. Первоначальное воспитание мое шло в этой семье до 12-летнего возраста, братьев у меня не было, а сестер было 5. Наша семья в первые годы моего рождения была весьма бедная, но когда я стал подрастать благосостояние нашей семьи стало постепенно улучшаться, так что к 12-ти годам моей жизни мы уже считались не очень бедными.

Мне было 6 лет, когда я поступил в нашу сельскую школу. Учитель не хотел меня принимать, но мне пришлось схитрить, уверить его, что мне не шесть, а семь лет. Учился в школе я видимо хорошо, потому что лучших учеников тогда отряжали в церковь помогать причетнику, и мне приходилось читать в церкви апостола, петь совместно с дьячком на клиросе и подавать священнику кадило в алтаре. Все это делалось в воскресные и праздничные дни – в будни же мы учились в школе. Учение в школе продолжалось всего 3-4 месяца в году, с ноября по март, когда крестьянин свободен от полевых работ. С наступлением весны, так около половины марта, учитель нас распускал или мы сами уходили на полевые работы и в школе не оставалось ни одного ученика.

Случалось, впрочем, так, что как раз по весне приезжал на ревизию школы кто-либо из инспекторов народных училищ или какое-либо духовное начальство – и тогда наш учитель и священник бегали по селу и упрасивали наших родителей отпустить на один день малышей в школу, чтобы представить «начальству» и показать ему наши познания. В таких случаях большинство учеников обыкновенно собиралось, начальство проводило нам экзамен, который состоял в том, что мы должны были рассказать какую-нибудь историю из ветхого завета, сказать наизусть какую-нибудь молитву, потом какое-нибудь

стихотворение по-грузински, а больше по-русски, затем решали какие-либо задачи по арифметике, больше устные, и в заключение должны были пропеть «Боже, царя храни» и «Коль славен наш господь в Сионе» и этим наш экзамен кончался. Надо заметить, что все наше учение производилось на русском языке которого мы не понимали или понимали очень слабо и экзамен происходил на том же языке; заученные уроки, разумеется, мы повторяли удовлетворительно, не понимая ни смысла, ни значения, но стоило экзаменатору задать нам какой-либо вопрос о самой пустячной вещи, как мы становились в тупик, не понимая его вопроса, и тогда учителю приходилось переводить вопрос нам по-грузински, и, как только вопрос становился нам понятным, мы все перебивая друг друга давали ответы.

Так шло мое учение до 12-ти летнего возраста. К 12-ти годам я кончил курс нашего училища, еще один год, т.е. одну зиму, я оставался в училище «сверх штата», - помогая учителю в его занятиях с учениками, читая псалтырь и апостолов в церкви. Но всему этому вскоре должен был наступить конец. Я был в таком возрасте, что или должен был отойти совершенно от школы и стать рядовым крестьянином, или надо было ехать в город и продолжать учение. Я выбрал последнее. Надо заметить, что крестьянская работа для меня была мучением, так как я, как единственный подросток в доме мужского пола, должен был помогать моему отцу и дяде и работать почти наравне с ними, что для 12-ти летнего мальчика было не под силу, тогда как учение мне давалось легко, как сказано выше, и я был первым учеником в школе. Кроме того, в сельской школе я познал кое-что, развилась во мне жажда знаний (кроме церковных книг и уроков я читал еще кое-какие сочинения и стихи на грузинском языке) а потому мои стремления, мои желания всецело устремились к познанию еще большего и я день и ночь стал думать о том, как бы осуществить эти желания. Со мною неразлучно за пазухой всегда была какая-либо книжонка, которую я жадностью читал среди своих крестьянских работ. Учитель и священники, мои наставники, не раз говорили моим родителям о необходимости дать мальчику дальнейшее образование, но родители мои и слышать не хотели, во-первых потому, что я был единственный сын и единственный помощник в их работе, и во-вторых потому, что материально считали себя бедными и несостоятельными настолько, чтобы могли содержать меня в городе, одеть меня по-городскому, покупать книги и тетради, платить за право учения и т.д. В особенности был против этого отец мой. Мать же после двух-трех моих объяснений и просьб не только согласилась отпустить меня, но совершенно перешла на мою сторону, и не раз ссорилась с отцом моим по этому вопросу, настаивая на отравлении меня в город. Надо заметить, что противились сильно и мой дядя с теткой, брат моего отца и его жена, которые находили во-первых, что я только изведу из

добро и ничему не научусь, кроме баловства и шарлатанства, во-вторых, что в доме не остается работника со стороны моего отца, у которого 5 душ дочерей – только едоков, но не работников и в-третьих, что я, вырастая в городе, перейму все городские привычки, сделаюсь барином, отобьюсь от крестьянской работы и в конце концов вернусь в деревню и потребую раздела имущества – разорю как его, моего отца, так и их – дядю и тетку, и прежде чем это случится, лучше им теперь же разделиться и тогда пусть отец мой распоряжается своей долей имущества как хочет. Эти доводы слишком сильно действовали на моего отца и делали его ярким противником мысли отправить меня в город. Эта борьба продолжалась целый год. Я ждал в этот год решения моей участи, но ничего не вышло из этого. Наконец один счастливый для меня случай помог мне. Дело было в следующем – в нашей сельской школе одновременно со мною выучился и окончил мой товарищ, сын нашего соседа – некто Балахадзе. Родители его, недолго думая, стали снаряжать его в город. Узнав это, наши соседи в один голос стали упрекать как моих родителей (собственно, моего отца, мать же давно старалась помочь мне), так и моего дядю и тетку в том, что менее способный и сын таких же родителей, т.е. с такими же недостатками, как мои родители, едет учиться, а я, более способный, остаюсь дома благодаря их скупости. Эти упреки особенно сыпались на голову моей тетки, всеми силами противящейся этому. Как бы то ни было, это обстоятельство и решило мою судьбу: дядя и тетка наконец сдались и дали согласие моему отцу отправить меня.

В сентябре 1882 года меня и моего товарища отвезли в гор. Аранцих, сдали на квартиру одному бедняку, некоему Симону, живущему в старой части города и обещали ему платить по одному пуду муки за каждого из нас и по рублю денег в месяц. На другой день отцы наши уехали, а мы, я и мой товарищ, пошли в училище сдавать экзамен. Экзамен был сдан блестяще и мы были приняты во второй класс в младшее отделение. Этот год мы провели в школе, учились хорошо, но жили, вы можете себе представить как мы жили в бедном семействе при такой скудной плате – жили впроголодь, не имея самого необходимого, но не только не роптали на свою судьбу, а даже благословляли ее за то, что нам все же удалось осуществить свою заветную мечту – учиться дальше. И мы учились, не щадя себя. Весною, в конце мая, нас распустили на каникулы, я и мой товарищ пошли в деревню Кильду – к родным. Мать моя обняла меня и слезы радости заблестели у ней на глазах. Я был в своей семье, в своей среде, я был бесконечно рад и счастлив, меня окружили мои бывшие товарищи и я с гордостью рассказывал им о своем учении, о своей школе, о городе и городской жизни, о нашей школе, о наших учителях и обо всем, что волновало мою детскую душу. Товарищи слушали и называли меня счастливым.

Так прошло лето, приближалась осень и мы надеялись, что я вновь буду в городе, буду продолжать учение, но моим мечтам не так-то легко было осуществиться. Товарищ мой, о котором говорится выше, купаясь в реке простудился, заболел и через неделю скончался. Я раньше упоминал, что благодаря ему, примеру его родителей, мои родные, частью под давлением соседей, частью же из соревнования рискнули отправить меня в город – теперь уже некому было подражать, некого было стыдиться. Эта смерть развязала им руки, и чуть ли не приписывали к тому, что смерть моего товарища случилась благодаря именно городу, где крестьянские дети балуются, не слушают старших, а потому-де погибают скоро. Сентябрь приближался, я с трепетом ожидал времени, когда меня отвезут в город, но время уходило, а родные мои и не думали готовить меня к отъезду. Наконец, видя, что я могу опоздать в школу, я обратился к матери и просил поговорить с отцом. Как только мой дядя и моя тетка узнали, что я вновь хочу ехать в город, подняли такой гвалт и упреки, что, не говоря уже о себе, отец и мать мои прикусили языки. После этого мне уже нечего было рассчитывать на их помощь, и удержать силой меня они не могли, потому что я все равно убегаю. Потеряв всякую надежду, я так и сделал. Завязав в учел кусок хлеба и сыру, пару носков и пару белья, и, собрав свои книги в сумку, я в одно утро, когда мои отец и дядя ушли рано утром на полевые работы, отправился в Аранчих. Первое время я должен был бежать, потому что боялся погони, но пройдя 15-20 верст, я успокоился, решив, что за мной никто не погонится, так как в эту страдную для крестьянина пору (была жатва) всякая минута дорога и даром он ее терять не будет.

Итак, я шел их дому с одним куском хлеба и без копейки денег и этим запасом я должен был прокормиться девять месяцев, нанять уголок и купить книги и тетради, и уплатить за право учения 8 рублей.

Переночевав под открытым небом в дороге, я на другой день был уже в городе. Когда я проходил мимо здания нашего городского училища, горькие слезы жалости к самому себе брызнули у меня из глаз. К кому я шел и какая участь ожидала меня впереди я сам не знал, знал только одно, что мне нужно учиться и в этом мое будущее.

Обойдя раза два кругом нашего училища, угнетенный духом и уставший с дороги, я сел на ступеньках лестницы отдохнуть, но вероятно я сильно устал – потому что не прошло и пяти минут, как я уже спал. Когда я открыл глаза я увидел, что наступили уже сумерки. Деваться мне было некуда и я решил переночевать в одной из классных комнат на парте, но к моему несчастью двери училища оказались заперты, а сторожа я нигде на нашел. Оставаться на улице неудобно было, городские могли увидеть и принять меня за ночного воришку, поэтому я решил пойти к прежним моим хозяевам и переночевать там. Хозяева приняли меня довольно радушно и спросили, привез ли я им какой-либо гостинец

вроде сыра, масла и т.п., но видя мое печальное выражение лица, замолчали. Тогда я рассказал им как я ушел из деревни, они выслушали меня, пожалели, послали несколько нелестных отзывов по адресу моих родителей и в заключение добавили мне, что сегодня-то я могу переночевать у них, но дальше как бедные люди держать меня не могут. На другой день я вышел в город искать себе работы или благодетеля, который согласился бы принять меня в услужение за кусок хлеба, с тем, чтобы по утрам я мог ходить в школу, а после обеда исполнять его домашние работы. В поисках такого благодетеля я потратил 3-4 дня. Не евши, не пивши, бегал я целыми днями по всем богатым домам, но никто на таких условиях меня принимать не хотел. Всем хотелось иметь даровую прислугу, но когда узнавали, что я вместе с тем хочу учиться, все отказывали. Наконец, на 5-й или на 6-й день, один из моих школьных товарищей отвел меня к одному одинокому человеку, довольно богатому, но больному и капризному. Человек этот был Лука Иванович Асатиани – помещик, обладатель нескольких деревень, которые в общей сложности давали ему дохода в год от 1200 до 1500 рублей, кроме дохода натурой, которая состояла в 1/5 доли получаемых крестьянами зерна, фруктов, овощей, сыра и масла, по тогдашнему времени для одинокого человека это был порядочный доход. Вот этот Асатиани и принял меня на моих условиях. Когда он сказал мне, что я могу остаться у него и учиться, я чуть было не упал на колени и не облобызал его ноги, но товарищ мой стоял со мной рядом и я со стыдом этого не сделал.

Зато с каким усердием служил впоследствии я ему!! Как я желал, чтобы он выздоровел скорее, как я оберегал его добро, с каким усердием я поливал в его маленьком саду цветы, как я быстро являлся на каждый его зов, готовый по каждому знаку его лететь туда, куда он укажет. Кроме меня, он держал еще одного повара и мы вдвоем убирали комнаты, повар готовил обед. Я таскал воду, рубил дрова, чистил ему платье, поливал садик перед окнами и был на побегушках по всяким мелочам. В этом доме я оставался до 1886 года, июня месяца. В июне кончил курс 4-х классов городского училища. Но еще в марте месяце благодетель мой умер от чахотки, и последние 2-3 месяца я жил уже при его племяннике и племянницах – Василье Асатиани и его сестрах, которые после смерти дяди являлись наследниками его имущества. Перед смертью мой благодетель хотел некоторым образом обеспечить мое будущее и завещать мне 500 руб., но тут вмешалась в дело его сестра, вдова Калатозова и уговорила брата и вместо пятисот мне было завещано только 50 рублей, которых впоследствии я так и не получил. Мне шел 19-тый год, когда я кончил училище, я уже был большим, пережитые мной невзгоды сделали из меня человека вдумчивого, осторожного, но непрактичного. Я был еще молод, и жизненной практики у меня не было. С самого детства я был большим фантазером, еще будучи в деревне, 8-9

лет, я жил мечтами и фантазиями. Селение Кильда, где я родился и рос, расположено в западной части Аралкалакского уезда, над ущельем реки Куры. С восточной стороны к этому селению примыкает громадная равнина, составляющая пастбище и пахоты этого села. На этой равнине я часто пас быков. Длинными летними днями я бегал здесь, собирал цветы, грибы, строил маленькие сохи и, подражая старшим, распахивал землю, сеял, боронил, косил и т. под. Когда это надоедало, я ложился на спину, всматривался в лазурь голубого неба и фантазировал. Я побывал и на Луне, и на Солнце, летал по воздушному пространству, воображая себя птицей, перелетал с одной вершины отдаленной горы на другую вершину и, утомившись воздушным путешествием, я спускался на землю. От старших я слышал неоднократно, что где-то, далеко от нашего селения, около Хапиури (а где был Хапиури, я не знал) проходит не такая простая, грязная дорога, где вязнут наши арбы со снопами, а железная, по которой двигаются целые комнаты на колесах, и так быстро, что глазами не уловишь. Мне захотелось построить такую железную дорогу. Первоначально мне представлялась эта дорога в виде широкого желоба или канавы по земле с высокими сторонами и плоским дном. Это дно и стороны покрыты листовым железом, туда поставлены четырехугольные громадными ящики-комнаты, с плоскими крышами, на колесах. Стоит только толкнуть этот ящик-комнату, и он летит-летит безостановочно, но куда летит, но куда летит – этого я сам не знал. Но представление мое о железной дороге, вначале столь красивое и возможное, постепенно стало заменяться другим представлением. Я слышал также, что эти комнаты двигаются огнем и паром. Мне тоже захотелось применить огонь и пар. Но в паре я так и не разобрался, но огонь применил во всем объеме, железную дорогу тоже отбросил в сторону, на наших ровных полях она не нужна была. Вместо этого я построил из железных листов большой крытый ящик на четырех колесах, тоже железных, внутри поставил железную печь, которая должна была гореть все время, пока ящик был в движении, и пустил в ход, сначала по ровной грунтовой дороге, но потом фантазия моя настолько подбодрилась, что я уже летел с быстротою ласточки по всем направлениям, не разбирая ни дорог, ни оврагов, все для моей машины было гладко. Теперь, когда я сравниваю мою тогдашнюю машину с нынешним автомобилем, между ними нахожу большое сходство, и если бы судьба была ко мне благосклонна, и я мог бы получить техническое или инженерное образование, кто знает, может быть я создал бы первый нынешний автомобиль.

Будучи таким фантазером, я воображал, что по окончании курса правительство само позаботится обо мне или предоставит сейчас же какое-либо место на службе с хорошим окладом или на свой счет отправить меня в большой город для дальнейшего образования. Но увы! – ни то, ни другое не случилось, и фантазия моя осталась фантазией. 12-го июня

1886 года в нашем училище был акт, нам, окончившим курс, выдали аттестат, инспектор училища пожелал нам успеха в дальнейшей жизни и отпустил на все четыре стороны.

До сих пор я мечтал о том счастливом моменте, когда окончу курс, но когда в моих руках очутился печатный лист бумаги с отметками и когда я очутился на улице, мне стало очень грустно. У всех моих товарищей был заранее определенный план, каждый из них знал, куда он пойдет по выходе из училища, почти у каждого из них была поддержка, протекция, у богатых были деньги, и они могли продолжать учение. У меня же не было ни того, ни другого, ни третьего, это так подействовало на меня, что я чуть не расплакался на улице. В самом деле, куда мог пойти, кому я нужен был, полуграмотный подросток. Разве вернуться к себе в селение и заняться своим крестьянским делом, и было бы лучше, но судьба судила иначе, что увидим из последующего. В деревню я все же должен был ехать, так как со смертью Луки Асатиани я лишился последней опоры и предоставлен был самому себе. Племянник его и племянницы сами стали бедствовать, вели безалаберно хозяйство и уже не получали тех доходов, которые имел их дядя, и кроме того, им не по сердцу было мое у них пребывание. Поэтому я летом приехал в деревню. Я жил в деревне, но душевно я не был спокоен. Чтение книг в последние годы расширило мой кругозор и развило во мне сильную жажду к знаниям. Я хотел учиться дальше. Меня совершенно не удовлетворяли те познания, которые я получил в городском училище. Я понял, что я в сущности, ничего не знаю, пишу и читаю неграмотно, что это не то, к чему я стремился, но учиться дальше, при всем моем желании, я не мог – у меня не было средств.

Пытался было поступить сельским писарем, потом почтальоном, но нигде меня не приняли, объявили, что нет вакансий. Так прошло это лето. Приближалась осень и судьба моя еще не была определена.

Вдруг, в конце августа, я получаю следующую телеграмму: «Еду в Тифлис, приезжай, Василий». Это писал мне племянник Луки, Василий Асатиани. Хотя я ничего особенного не ожидал от него, но все же, не долго думая, полетел в Аранцих, приехал, а мне объявляют, что я должен поехать с ним в Тифлис и он меня там где-нибудь пристроит. Я с радостью принял предложение, и мы, я, Василий и его младшая сестра Нина, поехали. Василий Асатиани был вольноопределяющимся в Тенгинском полку и должен был поступить юнкером в юнкерское училище, Нина, 16-летняя девочка, должна была продолжать обучение в гимназии, а я должен был устроиться где-нибудь на службу. Приехали в Тифлис, остановились у дяди Асатиани по матери, и начали устраиваться. Асатиани экзамены не сдал, и должен был вернуться еще на один год в свой полк. Нина не помню как устроилась, а я, хоть и много старался поступить на службу, но нигде меня не приняли. Прощения мои принимались (я подавал их через других), обещали дать какое-

либо место, но как только я являлся на другой день в старенькой блузке, в порванных чулках, загорелый, черный, - как сейчас же объявляли мне, что «вакансий нет». Вероятно, мой внешний вид производил на них неблагоприятное впечатление и возмущал их эстетическое чувство. Так провозился в Тифлисе целый месяц. Да, забыл добавить, что за этот месяц, кроме поисков места службы, еще держал экзамен в учительский институт, и сдал его весьма хорошо, как объявили мне, и все стали смотреть на меня ласково, но как только я заявил о том, что мне здесь жить нечем, а потому прошу принять меня на казенный счет, как все отвернулись от меня, а директор заявил, что сейчас вакансии нет, а месяцев через шесть, если я буду учиться хорошо, то он как-нибудь выхлопочет стипендию. Это меня не устраивало, я сегодня же нуждался в куске хлеба и в приюте, а мне обещивали только через шесть месяцев. Это была моя последняя надежда, и она не выгорела, я опять очутился на улице и без куска хлеба. Вернуться в дом родственников Асатиани я не имел никакого основания, а других знакомых я никого не имел. К счастью, один из моих экзаменаторов, учитель Иоселиани, содержал частный пансион. У него были ученики, но учителей не было, видя мое безвыходное положение, он предложил мне за кусок хлеба жить у него и исполнять обязанности помощника учителя, наблюдать за малышами, раздавать им порции хлеба и чая утром и вечером, а иногда помогать сторожу в уборке классов. Это предложение я принял с радостью, во-первых потому, что я мог не умереть с голоду, а во-вторых надеялся в этом пансионе поучиться еще кое-чему, но впоследствии оказалось, что я настолько был завален работой и настолько уставал, что к вечеру у меня слипались гласа и я часто засыпал над книгой за столом. Прослужив здесь месяца два и немного освоившись с городом, я стал смелее. Я понял, что работать из-за куска хлеба только мужчине 19-ти лет – стыдно. Я присмотрелся и узнал, что были мальчишки 12-14 лет, которые имели и хлеб и одежду и жалование. Я решил последовать их примеру, тем более что я уже почти совсем оборвался и надо было подумать об одежде. В пансионе Иоселиани каждый день получались газеты, я их читал, и между прочим читал и объявления. В одном из объявлений говорилось, что на Вере у врача Шейн-Фогеля требуется мальчик. Я, хотя был уже не мальчик, но попытался пойти по адресу. Шейн-Фогель, увидя меня, сперва хотел было отказать, но потом, узнав, что я грамотный, кончил 4-х классное образование, что буду служить усердно, он согласился принять меня на всем готовом и 6 руб. жалованья в месяц. Я исполнял обязанности свои весьма хорошо, по крайней мере мои новые хозяева были мной довольны. Кроме уборки комнат, на моей обязанности лежало еще ежедневно ходить в редакцию газеты «Тифлисский листок» и приносить газету. Однажды на улице встретил я одного своего школьного товарища, который окончил курс в Аранцихе вместе со мною. Это был Леван Беридзе, сын диакона

сел. Саро. Он рассказал мне, что в Гори сейчас уездным начальником некто Аландер, бывший Аранцихский уездный начальник, и что он охотно принимает тех, кто кончил курс в Аранцихском училище, и мы решили поехать в Гори. Здесь, в Тифлисе, таких грамотеев как мы, очень много, и нужна хорошая протекция, чтобы найти место, там же нас примут без протекции. Сказано – сделано. Я рассчитался со своими хозяевами, получил от них что-то около 15 рублей, и в ноябре мы были уже в Гори. На полученные деньги в Тифлисе же на солдатском базаре я купил себе поношенные полусапожки, суконную рубашку-блузу и пару белья. На оставшиеся деньги мы выехали. Приехав на вокзал, мы узнали, что в Атенском ущелье бр. Зизимани для эксплуатации леса проводят железную дорогу, и что им требуются конторщики, десятники и смотрители над рабочими. Мы обратились в контору, нас приняли, но только старшими рабочими на 15 рублей в месяц, и на другой день отправили нас в селение Атени. Здесь нам дали в руки кирку и лопату и поставили на работу. Наше старшинство заключалось только в том, что мы как грамотные должны были записывать ежедневно сколько человек работало с нами.

Так поработали месяц, наступил декабрь месяц, и с тем сильные холода, работы надо было прекращать до весны, нас рассчитали, выдав по 15 рублей. С этими деньгами мы явились в город Гори. Товарищ мой раздумал поступать в уездное управление писцом, его тянуло к педагогической деятельности, и он уехал обратно в Аранцих, а я подал прошение Аландеру, который, узнав, что я из Аранциха, действительно принял меня, определив жалование всего 6 рублей в месяц. Я получал меньше, чем сторож того же управления или городской (они получали по 12 руб). Но что же делать, надо было примириться. По крайней мере, в канцелярии было хоть тепло, а на дворе декабрь, морозы, и я примирился, надеясь в будущем добиться увеличения жалования своим усердием и вместе с тем, переписывая бумаги, я мог поправить почерк и научиться русскому языку, что для меня было очень важно, так как я все еще писал плохим почерком и с грамматическими ошибками, и в этом канцелярия мне много помогла.

Служа в канцелярии, жажда самообразования и саморазвития еще больше захватили меня. При городском клубе была библиотека, многие из нашей канцелярии чиновники состояли членами в клубе и пользовались библиотекой даром. Я просил их доставать книги и для меня, и некоторые охотно встретили мое стремление, стали приносить мне их. Я с жадностью набросился на книги, читал день и ночь, читал во всякую от службы минуту. В первое время я не имел квартиры и спал на столах в канцелярии, но через некоторое время, к весне, я уже смог с моим товарищем, таким же писцом как и я, нанять комнату в 2 рубля в месяц. С этого времени мое самообразование пошло усиленным темпом. Я читал все, что попадалось под руку. Знал уже наизусть многие стихотворения

Лермонтова, Пушкина. Кольцова, Некрасова, читал Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева, Успенского, Салтыкова-Щедрина, Грибоедова и многих других русских и иностранных писателей. Я стал образовываться, отшлифовываться, неуклюжий, малограмотный деревенский парень постепенно превращался в интеллигентного молодого человека. Одновременно с чтением книг я взялся за повторение пройденный мной в школе предметов, изучил в совершенстве и более сознательно историю, географию, русскую грамматику, физику (явления природы), геометрию и арифметику. Особенно я налег на русский язык. Через несколько месяцев я не только не писал уже с ошибками, но даже другим исправлял их. Но литература была моим увлечением, читал запоем, целыми ночами напролет. В результате я настолько олитературился (если можно так выразиться), что стал пописывать себе дневник и 203 корреспонденции о злобе дня послал в редакцию газеты «Тифлисский листок». Теперь я уже был горд сознанием своего достоинства и своим превосходством над товарищами. Теперь я уже мог смело бросить вызов судьбе и побороться с ней, той судьбе, которая до сих пор была столь немилостива ко мне. Еще в деревне я возмущался тем, что какой-нибудь помощник старшины или старшина, в сущности, тот же крестьянин, мог издеваться на другими крестьянами, бить их, сажать в карцер, штрафовать и т. под., но то, что я видел в нашей уездной канцелярии. Превзошло все мои ожидания. Не говоря о самом уездном начальнике, который свысока относился к самым почтенным горожанам, тыкал их, сажал в кутузку и унижал немилосердно, не говоря о том. Что городские и уездные пристава, немилосердно унижали и обирали народ, даже самые мелкие канцелярские сошки вроде меня не отставали в этом. Особенно доставалось крестьянам-осетинам. Являлись они для жалобы, их в канцелярию не впускали, они должны были ждать в галерее, когда начальство вздумает выслушать их жалобы. Ждать приходилось долго, с утра до 2-х, до 3-х часов пополудни. Этим пользовались канцелярские сошки. То один, то другой выбегали в галерею, опрашивали крестьян, и, узнав их дело, рисовали им такие перспективы будущего их жалобы, что бедный крестьянин трусил, терялся, не знал, что делать, а сошка, рисуя себя его благодетелем, вызывался написать ему прошение и повернуть дело в его пользу. Доверчивый, темный человек легко попадал на эту удочку, просил, умолял спасти его и за прошение, которое мог написать любой грамотей за двугривенный, сошка брал 2-3 рубля и писал в 10 словах прошение, например, о том, что у крестьянина X пропали быки, и что он подозревает крестьянина У. Такие обирания темного народа происходили ежедневно, знали старшие, но не обращали на это никакого внимания, потому что сами они – секретарь, делопроизводители, брали больше – 15-25 рублей, за каждый пустяк, за каждое до очевидности ясное и правое дело. Моя крестьянская душа никак не могла примириться

с таким наглым обирательством бедных крестьян. Полицейская служба с каждым днем мне стала претить. Я понял, что оставаясь в этой атмосфере, постепенно погрязну в ней, перейму все плохие черты этой атмосферы и со временем сам сделаюсь таким же, как мои товарищи. Надо было уходить отсюда подальше, и я ушел. Осенью 1888 года я подал прошение начальнику местной почтово-телеграфной конторы о принятии меня почтальоном и просил принять меня прямо на жалование, так как я без жалования не мог прожить и одной недели за неимением средств. Начальник похлопотал, и я был определен почтальоном на 18 руб. жалования в месяц. Надо заметить, что раньше до меня никого не принимали сразу на жалование, не прослужив месяцев 5-6 кандидатом без жалования, но для меня было сделано исключение, как для хорошего, грамотного и развитого молодого человека. С этого дня я прикован к службе, о перемене службы перестал думать и прослужил в этом ведомстве 32 года 6 месяцев до выхода в отставку. Служба в горийской почтовой конторе протекала для меня более сносно, чем в полицейском управлении. Во-первых, потому что я здесь получал больше 18 руб. жалования при казенной квартире с освещением и отоплением, на первое время для одинокого было вполне достаточно. Я уже не голодал, приоделся, отчасти привел себя в приличный вид и зажил более-менее сносно. В полиции же, получая шесть рублей и прирабатывая еще рубля 3-5 в месяц писанием прошений крестьянам, я часто голодал. Бывали дни, когда не имел я куса хлеба, не забуду случая, когда я просил у пурщика хлеба на 2 копейки в долг, и он мне отказал, заявив, что и без того я ему должен 1 руб. 20 копеек за хлеб, и пока не уплачу, он мне не сможет отпускать дальше. Прослужив год в горийской конторе, я материально был доволен, но духовно не нашел покоя. Почтовая служба – самая простая, самая бестолковая, она ничего не дает духовного человеку, здесь человек не только не развивается, но даже забывает и то, что знает, кроме географии. Спустя год я уже знал почти все города Российской империи, знал все направления и разветвления всех железнодорожных линий и только; дальше нечему было учиться. Да, надо упомянуть, что с первых же дней службы я изучал еще работу на телеграфном аппарате, надеясь со временем сдать экзамен и сделаться чиновником. Но это не так легко было. В то время на почтальонов смотрели как на нижних чинов, и повышение им давалось в очень редких случаях по особой протекции ближайшего начальства или какого-либо высокопоставленного чина, просьбу которого начальник почт.-тел. округа не мог не исполнить. Бывали примеры, когда состоятельные почтальоны, те, которые могли прожить без жалования, подавали в отставку, а потом поступали вновь кандидатами на должность чиновника. Впоследствии этот взгляд высшего начальства на почтальонов

постепенно стал изменяться, и последние при усердной службе и достаточной грамотности могли сделаться почтово-телеграфными чиновниками.

Я выше упомянул, что материально я чувствовал себя сносно, духовно же я не был удовлетворен, меня окружали люди слишком неразвитые, слишком недалекие. Надо было уходить искать, где лучше, Тифлис меня давно манил. Я ждал только случая, и случай скоро явился. В тифлисской почтово-телеграфной конторе служил почтальоном некто Ананьев, родители которого жили в деревне недалеко от Гори. Ананьеву выгодно было служить в Гори, чтобы быть ближе к родителям. Со мною в горийской конторе служил почтальоном его двоюродный брат, тоже Ананьев, братья списались и предложили мне поменяться местами, я с удовольствием принял это предложение. Подали прошения, и нас перевели одного на место другого. Таким образом я опять очутился в Тифлисе, но более обеспеченный, чем два года назад. Здесь я уже мог удовлетворить свою любознательность, книг доставал я много. Среди товарищей нашлись люди со стремлениями, так же, как я, увлекающиеся чтением и самообразованием. Нас нашлось таких три-четыре человека, потом мы познакомились с семинаристами старших классов Духовной семинарии, которые по вечерам стали приходить к нам, и у нас таким образом образовалось вроде литературного кружка. Читали книги, разбирали, высказывали свои мнения по тем или другим вопросам, спорили, шумели, галдели почти до 2-х часов ночи и расходились. Иногда собрание наше заканчивалось кутежом, доставали вина, закуски, зелени и часто до утра сидели за столом. В Тифлисе служба моя пошла заметно. Я был на первом счету среди моих товарищей-почтальонов, через шесть месяцев я уже был помощником старшего (старшим назывался унтер-офицер почтальонской команды) и повышен в старший оклад жалования. Я получал уже 23 руб., тогда как другие получали 18-20 руб., а унтер-офицер 25 руб. Все шло пока хорошо, но одно обстоятельство отравляло мое душевное спокойствие. У нас был начальником Петр Иванович Кожин – человек просвещенный, культурный, но помощник его Петр Степаныч Соколов – из старых почтовиков, человек малограмотный и узкий националист – заведовал почтовым отделом конторы. Мы, почтальоны, - нас было человек 40-45, - находились в его непосредственном распоряжении. Вот этот –то Соколов и отравлял нам жизнь. Он терпеть не мог туземцев, любил исключительно русских, отличал их, выдвигал по службе, давал им более легкую работу и часто говаривал: «Они на чужбине, надо их жалеть, а вы – грузины, армяшки, нечего вас жалеть, вы у себя дома, и вас, чертей, очень много, хоть пруд пруди». Был он деспот, каких я после никогда не встречал. Бывало, заболит почтальон-туземец, его надо в больницу отправить, а он кричит: «Знаем мы его, притворяется, подлец, уваливает от работы». Но если заболел русский, он говорил: «Ох,

бедный он, притворяться не умеет, старшой, позови фаэтон, отвези его в больницу». Или, бывало, надо кого-либо назначить на разноску по городу писем. Надо вам сказать, что разноска писем в то время у нас считалась унижительным ремеслом, но довольно доходным, в особенности в некоторых кварталах города, как Салолаки, Головинский проспект, Михайловская улица, где жили или богачи, или богатые магазины. Если вакансия открывалась в этих кварталах, Соколов звал раньше всего русского и предлагал ему, если тот не соглашался, тогда назначали туземца. Но если вакансия открывалась на окраине города, то без всяких рассуждений назначал туда туземца, а если тот не соглашался, увольняли со службы. Обращение у него было самое грубое, звал почтальонов не иначе, как «эй, ты, такой-то, поди сюда!». Это был тип старого почтмейстера и начал службу, когда еще вместо почтальонов были солдаты. Он уже отслужил 42-ю годовщину и через некоторое время вышел в отставку, и слава Богу, туда ему и дорога, но я уже не был тогда в Тифлисе.

В Тифлисе я прослужил года три, в течение этого времени я настолько окреп материально, что сумел поехать в отпуск в сел. Кильда повидать родных, которых я не видел более семи лет. Отец мой меня не узнал, принял меня за акцизного чиновника, мать же по голосу узнала меня, бросилась обнимать меня, расплакалась от радости. Еще бы, ушел из дому 14-15 лет, а вернулся 23-х лет, обросший бородой и усами, уже взрослый мужчина. Привез родным кое-какие подарки, между прочим одно евангелие в никелевой оправе, позолоченное, которое я пожертвовал церкви Св. Георгия в местности Нидокгори около сел. Саро. Это пожертвование я сделал по следующему поводу: когда 1883 году я убежал из дому в Аранчих, был сильно удручен своей беспомощностью и безнадежностью, шел куда-то, но что меня ожидало в будущем, я не знал. Идя по дороге и поравнявшись с Нидокгори, в зелени садов я увидел церковь, меня вдруг осенила мысль помолиться этой церкви (я тогда был глубоко верующим). Я молился так: «Господи, иду, сам не знаю, куда, помоги мне сделаться человеком, помоги мне учиться, и я обещаю по поступлении на службу первое жалованье мое, которое я получу, пожертвовать Тебе». Это обещание я хранил в груди лет девять, и хотя я теперь уже не так верил, но все же обещание свое исполнил. Я с матерью поехали в Нидокгори, отслужили молебен и поднесли это евангелие. Нас окружили крестьяне, среди которых была масса наших родственников, и похвалам по моему адресу и добрым пожеланиям не было конца.

По окончании отпуска я вернулся в Тифлис, служба по-прежнему пошла своим чередом. Я еще ревностнее исполнял свои обязанности. Много старался сделаться чиновником, но пока Соколов был там, рассчитывать на что-либо хорошее я не мог. Я выше сказал, что при нем туземцам не давали ходу, будь он хоть семи пядей во лбу.

Начальника нашего Кожина сменили, его назначили помощником начальника Округа, его место заступил Елисаветпольский начальник конторы Ковальский – любимец Богуцкого, начальника Округа, стали поговаривать и о смене помощника Соколова, последний стал мягок, перестал придирается, уже не так яростно отличал русских от туземцев и вообще мало стал вмешиваться в дело. Вот как раз в это время получилась из округа бумага, в которой требовалось представить одного опытного почтальона к повышению в смотрители почтовой станции. Ковальский представил меня. Через два дня меня вызвали в Округ. Меня принял помощник начальника Округа Белявский, который заведовал всеми почтовыми станциями Округа, поговорил со мною, объяснил мои будущие обязанности и обещал назначить меня смотрителем на ст. Страшный Окоп по Боржоми-Абастуланской дороге. Назначение это меня не особенно радовало, во-первых, потому, что повышение было не ахти какое, а во-вторых, смотрительская должность не нравилась мне. Перед моими глазами всегда был «Станционный смотритель» Пушкина. Но делать было нечего, другого повышения я в ближайшее время не мог ожидать, а это назначение было все же шаг вперед, и я согласился. Это было в мае месяце 1892 года. Первый раз в жизни я одел двухбортный форменный сюртук с серебряными галунами, белые перчатки и шпагу – совсем как чиновник, и это отчасти льстило моему молодому самолюбию. Почтальоны не имели права носить двухбортный сюртук и шпагу, им полагались только однобортный без шпаги и без серебряных галунов. Приехав в Боржом, я представился местному начальнику конторы, которому я отчасти должен был подчиняться, и на другой день я был уже в Страшном Окопе. Здесь я уже почувствовал себя свободным. Слава Богу, я был далек от тирании Соколова, теперь уже он не мог тыкать и издеваться. Я был самостоятелен, оценка моей деятельности зависела не от какого-либо Соколова или другого мелкого чина, а от самого начальника Округа и его помощника Белявского. Теперь мне оставалось только показать себя, выявить свои способности. Дальнейшее движение по службе теперь зависело всецело от меня. Целое лето с мая по ноябрь я прослужил здесь. Но как прослужил и что я перенес, описать невозможно. Истинно, станционные смотрители – это самые несчастные создания, какие только существуют на свете. Никогда я не переносил столько нравственных унижений и оскорблений, сколько я перенес за это лето на этой проклятой станции. Тут только я понял, почему станционные смотрители делаются или отчаянными пьяницами, или тряпками и лакеями. Здесь каждый проезжающий может лягнуть тебя, каждый смотрит на тебя свысока. В глазах тогдашнего общества станционный смотритель – это та половая тряпка, об которую всякий может вытереть грязные ноги. К счастью, мне недолго пришлось оставаться здесь. Частью от нервных потрясений, частью же от климатических условий я заболел сильно лихорадкой, пролежал

целый месяц, но вылечиться не мог. Тогда я написал рапорт и просил перевести меня в другое место, меня откомандировали временно в Тифлис, работать при местной почтовой конторе. Попав вновь в Тифлис, я уже не хотел оттуда уходить и много просил, чтоб оставили там, но просьбу мою не уважили. Будучи в Тифлисе, я имел две-три командировки, где я временно замещал уехавших в отпуск начальников. Был в Акстафе на месяц, в Вазианах на три недели и не помню еще, где. Так прослужил я до марта в Тифлисе. В марте предписали мне выехать в Гудаур (станция Военно-Грузинской дороги) смотрителем, и я выехал. Очень не хотелось расстаться с Тифлисом, и я отказывался ехать, но мне пригрозили, что сместят опять в почтальоны, и я выехал.

Здесь я должен сделать маленькое отступление назад, когда я был в Страшном Окопе. Я написал домой письмо, что я уже смотрителем и служу в Стр. Окопе. Письмо мое произвело сенсацию (как оказалось впоследствии) во всей нашей деревне и даже во всем Аралкалакском уезде. Все знали историю ухода моего из дому без копейки денег в малом возрасте, и это удивляло всех, что я своим старанием только достиг такого положения. Не говоря о родственниках и знакомых, даже незнакомые люди приходили поздравлять и выражать свое удивление моим родителям. Из нашего селения и даже из всей Джавахетии не было еще примера, чтобы крестьянский мальчик мог достичь такого положения. Должность смотрителя для крестьян было что-то недостижимое. Были до меня примеры, когда крестьянские дети делались лавочниками, приказчиками, кондукторами, сельскими писарями и даже сельскими учителями, но смотрителем еще никто не был. Да еще без помощи родителей. Родители мои окрылились. Они уже не жалели о том, что я ушел из дома. Дядя и тетка мои уже не боялись того, что приду в одно прекрасное время и разделю их имущество, наоборот, теперь и они стали везде и всюду хвалить меня и гордиться мною, забыв совершенно, что когда-то благодаря их скупости, глупости и зависти я должен был очертя голову броситься в волны житейского моря. Дошло до того, что дядя мой в один прекрасный день приехал ко мне в Страшный Окоп повидать меня и просить денег. Я принял его с радостью, угостил хорошо и на прощание дал ему 15 руб. денег. Злобы я никакой не имел, а напротив, всей душой готов был помочь им сколько мог. С этих пор я стал для них желанным сыном, желанным членом семьи, предметом их гордости и тщеславия. Между прочим, мой пример дал многим крестьянам повод отправлять своих детей в город учиться.

Но к делу. Итак, я уже был в Гудауре смотрителем. Донесения мои в Округ по разным делам носили на себе печать осмысленности и деловитости, кроме того, они отличались от обыкновенных казенных шаблонов еще и грамотностью. Первые мои бумаги, когда самостоятельно стал обращаться в Округ, вызывали удивление среди окружающих

чиновников, их носили от стола к столу и показывали друг другу (об этом мне передали впоследствии). Эти донесения нравились и начальнику Округа Богуцкому (он сам всегда старался писать литературно). Последствием всего этого было то, что через несколько месяцев мне предложили место начальника почтового отделения в Млетах (станция и селение на той же Военно-Грузинской дороге). Через год или полтора здесь открыли и телеграф – теперь я уже был начальником почтово-телеграфного отделения. Бедственное положение мое кончилось, я получал уже 50 руб. своего жалованья в месяц, 15 руб. в год от Инженерного ведомства за отопление телеграфной станции, имел казенную квартиру о двух комнатах с кухней, отопление и освещение. Для одинокого человека это было более, чем достаточно по тогдашнему времени. Вместе с тем я и нравственно был удовлетворен, меня уже никто не тыкал и не гонял, как раньше, когда я был почтальоном и смотрителем. Я носил название начальника и это название меня спасало от оскорблений и унижений. Проезжающие, за исключением некоторых высокопоставленных лиц, перед которыми я все еще должен был вытягиваться во фронт, обращались ко мне довольно сносно, многие заводили со мною беседу и часто приглашали меня к столу. Я был на равной ноге с участковым приставом, с ветеринарным врачом, с инженером участка и со многими другими, даже начальство стало руку подавать, чего я раньше никогда не удостоивался. Я был честолюбив, не скрою этого, и это льстило моему честолюбию. Это же честолюбие заставляло меня быть примерным служакой, отличаться, где только можно было отличиться, и вести свое дело так, чтобы начальство не имело повода сделать мне выговор или замечание, чтобы начальство не могла сказать, что Делибаш не на своем месте. С годами я стал менее ретивым в своем честолюбии, но тогда я был таков. Повторяю, - материально я был обеспечен, нравственно удовлетворен. Но у меня не хватало еще вкусить плоды просвещения. Когда в кармане есть деньги, они вызывают много желаний. Первым желанием было купить сочинения любимых мною авторов, вторым – побывать в театре и видеть все гениальные произведения: драмы, оперы, комедии и т. под., третьим – подписаться на какой-нибудь еженедельный журнал и ежедневную газету, четвертым – видеть все, побывать в лучших ресторанах, в лучших гостиницах, испытать и испробовать все, что доступно было в то время всякому культурному человеку, - и я стал все испытывать и все узнавать. Мне было тогда 24-25 лет, и я многое еще не знал. Я знал, например, названия разных кушаний, но я их никогда не ел; знал и читал в книгах разные драматические произведения, но на сцене их никогда не видел. Я стал сберегать деньги. Три-четыре месяца я их собирал, потом брал отпуск на 5-6 дней, ездил в Тифлис и здесь останавливался в самой лучшей гостинице, потом отыскивал кого-либо из моих прежних товарищей. В особенности я дружил с Избашем, бывшим почтальоном, а теперь юнкером

и впоследствии офицером. С этим Избашем мы бывали везде, где только за деньги можно было быть – и в театре, и в цирке, и в ресторане, и в кабаке. Кутили при дудуки, при сазандари, при струнном оркестре. Пели, дебоширничали, орали на улице, ломали стулья в Александровском саду и даже попадали в участок. Словом, я отдавал дань молодости, но молодости уже запоздавшей. Казалось, что в молодые годы я был старым, рассудительным, в более зрелые же года я стал мало рассудительным и легкомысленным. Я сказал выше, что хотел испытать все, и испытывал – горячо, без удержу. Оставив 100-200 рублей в Тифлисе, я возвратился в Млеты с тем, чтобы через некоторое время опять приехать с деньгами. Это продолжалось лет 5 – даже тогда, когда уже был женат. Надо вам сказать, что в карты я никогда не играл, пил я только в компании, расходы нес только на книги и журналы, так что получаемое содержание не только хватало мне на кутежи, но еще давало возможность делать маленькое сбережение. Я каждый месяц откладывал от 25 до 35 руб. Как я ни увлекался, но, помня свои голодные годы, я не мог не откладывать на черный день. Из этих отложений к концу 7-го года, когда перевели меня из Млеты, у меня было около трех тысяч руб. процентными бумагами. За это же время я женился на дочери Мтиуица Апучаури - Нине, которую звали «Нуца». Ее воспитала тетка, сестра ее отца, бездетная. Тетка была замужем за жителем сел. Кайшаури Семеном Кайшаури. Селение это расположено на горе, к востоку от ст. Мети, на расстоянии 3-4-х верст. Но Семен Кайшаури жил в Млетах, недалеко от станции. Я до обручения видел свою невесту только два раза и совершенно не знал ее. Но похвалы сватов и мое воображение довершили все, что нужно было, и нас обвенчали. Нуца оказалась действительно тихой, смирной и преданной женой, но вместе с тем больной туберкулезом. Мы прожили с ней почти 6 лет. За это время меня назначили начальником почтово-телеграфной конторы в Акстафу Елисаветпольской губернии. Я и Нуца поехали туда (детей у нас не было), но здесь она не долго прожила. Тяжелые климатические условия докончили ее, и она скончалась на моих руках в 1890 году в феврале или в марте, не помню. Я отвез ее в сел. Кайшаури и похоронил, осенью поставил ей памятник. Я остался одиноким, домой меня уже не тянуло. Я стал усердно работать по службе, а свободное время проводил на вокзале, встречая и провожая почти каждый пассажирский поезд. Служба была здесь очень беспокойная, почтовые поезда приходили ночью в 2-3-4 часа, работы было много, и, хотя я был не один, у меня был помощник, два чиновника и два почтальона, но все же доставалось здорово, день и ночь не знали покоя. Ночью разбирали входящие и отходящие почты, а днем выдавали и принимали от публики корреспонденцию. Климат был жаркий, лихорадный, малярийный, работа была беспокойная, ежечасная, ежеминутная, мы болели, работали, опять болели и опять работали, а тут еще малейшее

упущение по службе наказывалось строго. Не могу вспомнить службу мою в Акстафе добром, это была нудная, беспокойная, однообразная каторга. Очень часто приходилось оставлять недопитый стакан чаю, недоеденный обед и бежать на вокзал, чтоб не опоздать к поезду, принять и сдать почту, и это каждый божий день, не зная ни праздника, ни воскресенья, ни смены, ни отдыха. Агенты железной дороги имели смену, но мы, почтовики, должны были работать без смены, пока не заболеем и не свезут в больницу. Здесь, в больнице только и находили отдых, а выпишешься – опять та же беспокойная каторжная работа. Одним словом, я не могу вспомнить ни одного спокойного дня, когда мы, кончив службу в 2 или 3 часа пополудни могли спокойно оставаться непрерывно в течение трех часов. Вообще, вся почтовая служба где бы то ни было по роду и характеру своему беспокойная, но в то время была еще хуже. Штаты были маленькие, там, где должны были работать три человека, работал один. Сколько пришлось просить и писать в Округ о добавлении чинов, но кто обращал на это внимание, наоборот, часто получали выговор за назойливость. Будучи еще в Тифлисе, мне приходилось вставать в 2-3 часа ночи, разбирать почты, разбирали до утра, потом на скорую руку умывались, пили стакан чаю и опять на службу, на целый день, до 9 часов вечера, и так – каждый день, из года в год, изо дня в день. От копоти и пыли несчастные служащие походили на выходцев с того света, но это был Тифлис, - если урвешь свободный час и пойдешь в театр, в цирк, на концерт или просто в загородный сад, посидишь в прохладе, послушаешь музыку, закусишь и выпьешь, то все забудешь и вознаградишь себя. Но в Акстафе нечем было и вознаграждать себя. Особенно нас донимала лихорадка, к концу 5-го года службы я заболел почти неизлечимой дизентерией. Болели и другие служащие. Обидно было то, что рядом с нами работали железнодорожные служащие, и совершенно в других условиях, чем мы, почтовые. Во-первых, у них было трехсменное дежурство, т.е. работали через 2 дня на третий, во-вторых, у них был даровой проезд в Тифлис, ездил хоть каждый день, в-третьих, амбулатория – доктор, фельдшер, баня, а у старших агентов еще и ванны были на квартире, школа для детей, водопровод в каждом доме, а дома казенные, чистенькие, отремонтированные, затем согласно условия каждый служащий мог брать из буфета обед за полцены. У нас ничего подобного не было. Жили в одних и тех же климатических условиях, мы гибли, а они чувствовали себя хорошо, а еще каждый из них, кто прослужил здесь три года, имел право просить о переводе его на станцию с более здоровым климатом, - и переводили. Вот при каких условиях приходилось служить в Акстафе. Но тем не менее, служил и прослужил я здесь почти семь лет. Просил неоднократно перевести меня, но просьбы мои оставались не исполненными.

Расскажу теперь о своей второй женитьбе. После смерти первой жены я остался бездетным бобылем, но был еще молод, - мне было тогда 33-34 года. В Акстафе служил машинистом Георгий Мамацев. У него была сестра Тамара, довольно красивая и скромная девушка, получившая довольно хорошее, но домашнее воспитание, ей было тогда 18 лет. Девушка мне понравилась, я присватался, и свадьба наша состоялась. Свадьбу справили в Тифлисе, в доме ее двоюродного брата Гиго Мамацева, тоже машиниста. В Акстафе я имел квартиру на почтовой станции, казенную, о трех комнатах. Получал я тогда 60 руб. жалованья как начальник VI класса конторы. От почтосодержателя за надзор за станцией имел еще 15 руб. в месяц. К новому году и к Пасхе имел я еще наградных 40-50 рублей, так что в общей сложности я получал до 80 руб. в месяц. Нас было двое, жили мы хорошо, но скромно. Из этого жалованья я откладывал неизменно ежемесячно 25 руб., так что через 7 лет у меня собралось до 3-х тысяч с процентом рублей, да из Млет я вывез около 3-х тысяч, так что я к концу службы в Акстафе имел уже до 6 тысяч. Почему я собирал деньги? Наверно, каждый подумает, что из любви к деньгам или потому, что я был скуп – но ошибется. Если вспомнить, из какой среды я вышел, вырос, то станет понятным, что, расставшись в детстве с моими родными полями, родными пашнями, холмами и долинами не значит, что этим я их выкинул из своего сердца, а наоборот, - они стали моему сердцу все милее и милее. С первого же дня службы я положил себе когда-нибудь опять вернуться к земле, но вернуться не крестьянином на казенной земле, а собственником. Маленький участок земли с садом, сенокосом, поливаемый и орошаемый водою всегда стоял перед моими глазами, спал ли я, бодрствовал ли или сидел в компании безразлично. Не знаю, был ли другой такой, кто мечтал бы день и ночь об этом, но я мечтал. Мечтал тогда, когда я был в уездном управлении и получал 6 руб. в месяц, мечтал и тогда, когда сделался почтальоном, мечтал, когда был смотрителем, когда был начальником отделения, и теперь, когда был начальником конторы. Вот эта мечта и была причиной того, что я стал почти с первого дня поступления на службу откладывать часть своего заработка. Итак, деньги я уже имел, оставалось осуществить свою мечту, но я не хотел иметь землю в нездоровой местности, в Елисаветпольской губернии. Искал я в Горийском уезде, около селений Скра, Карели, Гоши, но подходящего ничего не нашел. Были имения или очень дорогие, или очень ничтожные.

Тогда я решил перевестись из Акстафы в Аралкалаки. Это мне нужно было сделать еще и потому, что жена моя Тамара последние годы стала чувствовать себя плохо, да и я страдал постоянно малярией, даже дети наши Нина и Соня чувствовали себя плохо, в особенности летом. Во всяком случае, спасти семейство надо было, и вот я подал прошение о переводе куда-либо; мне отказали. Тогда я списался с помощником

начальника конторы Аралкалаки, мы подали обоюдное прошение, и нас перевели одного на место другого. Это было в 1907 году, в конце апреля. Прежде, чем писать об Аралкалаках, я должен сказать несколько слов о моих старших дочерях Нине и Соне. Обе они родились в Тифлисе, в Ольгинском Повивальном Институте. Первой родилась Нина, в 1903 году 20 января. Я сказал, что, прожив с первой женой, у меня не было детей. Я очень хотел иметь хоть одного ребенка. Когда родилась Нина, я очень обрадовался, поздравил телеграммой жену и вызвал ее в Акстафу. Девочка моя оказалась маленькой крошкой, мы стали ухаживать за ней, при малейшем расстройстве ребенка я трепетал. Сейчас же купили ей ванну, коляску, сделали ей новую постельку и окружили ее неусыпной заботой. К несчастью, первое у матери ее, т.е. у Тамары, не было молока, ребенок не брал груди, это приводило меня в отчаяние. Я, как оглашенный, бегал по Акстафе и искал для нее коровьего молока, которое в то время трудно было достать (был январь). Но все же я доставал. Население – татары относились ко мне с уважением и сами между собой находили и относили мне, так выкормили ее один месяц, потом у матери появилось

молоко и ребенок стал постепенно поправляться. Когда ей был год она уже ходила, но ходила, Боже мой, как ходила! Шагом идти она не могла или не знала – сказать трудно, но факт тот, что когда она собиралась идти, то сразу срывалась с места бегом, пробежав несколько шагов, она падала, потом опять срывалась, опять падала и так без конца, пока наконец не уставала и не укладывалась спать. И как сейчас помню мою «Цацу» - мы ее звали Цацей – кругленькую, пухленькую с блестящими карими глазами, белокурыми кудряшками, мою девочку. При моей каторжной службе в то время она была моей лучезарной звездой – я отдыхал дома душой и телом.

Через два с половиной года после Нины родилась Соня, в июне 1905 года. Мы думали, что такой как Нина у нас не будет другого ребенка, но Соня превзошла наши ожидания. Это была черноглазая, здоровая, полная и более живая чем Нина девочка. Обеими мы были довольны и благословляли судьбу.

В мае месяце я приехал в Аралкалаки и было пора. После семилетней каторжной жизни в отвратительном климате мы наконец вздохнули свободно. Еще в Акстафе Тамара стала покашливать, у нее правое легкое было задето туберкулезом. Туберкулез развился у нее на почве малярии. Приехав в Аралкалаки, мы еще месяца два страдали лихорадкой, вывезенной нами из Акстафы, но здоровый аралкалакский воздух, чистая, холодная родниковая вода, хорошая еда и частые прогулки в окрестностях города сделали свое. Мы стали постепенно поправляться. Тамара потеряла кашель, а я избавился от дизентерии. Здесь я был помощником начальника конторы один год, через год я был назначен начальником этой же конторы вместо Милевского, которого перевели в Абас-Туман.

Здесь я прослужил семь лет – до 1914 года. В четырнадцатом году была объявлена война с Турцией. Я был назначен помощником начальника Главной полевой почтовой конторы, но когда получил телеграмму о выезде в Тифлис, я был болен ангиной, выехать не мог, и место мое было занято другим.

В Аралкалаках родились Турпа, Рая и Сандро. Рождение последнего вызвало в моей семье большую радость. У нас было четыре дочери и ни одного мальчика. Рождения мальчика мы очень хотели, мы были довольны судьбой, но жизнь наша не была полна и вот, судьба и здесь улыбнулась нам. В 1912 году родился у нас мальчик. С этого дня моя семейная жизнь стала полнее. Но видно, что человек никогда не может быть счастлив во всех отношениях. Я занимал, по сравнению с товарищами хорошее служебное положение, материально был обеспечен, имел хорошую жену и хороших, красивых детей. Но все это не делало меня счастливым, потому что Тамара в последние годы опять стала чувствовать себя плохо – неизлечимый недуг (болезнь легких) стал постепенно давать о себе знать. Она стала сильно кашлять, Аралкалакский климат уже не помогал ей. В 1914 году весной пришлось отправить ее в Абас-Туман, но недолго пробыла она здесь. В июле была объявлена война и ей пришлось вернуться в Аралкалаки.

Оглядываясь назад и сравнивая различные моменты моей жизни я должен признать, что самым счастливым моментом были эти семь лет, которые я прожил со своей семьей в Аралкалаках. Здесь мне удалось осуществить свою заветную мечту – купить имение, здесь роился у меня сын, здесь я получил служебное повышение, удовлетворяющее мое честолюбие. Здесь впервые я был заметной единицей в окружающем меня обществе. Стал принимать участие в разных общественных делах. Был членом и старшиной клуба, был членом совета местного общества взаимного кредита, был казначеем и членом комиссии по постройке церковных лавок, строил собственное здание клуба и т.п. Вообще ни одно явление общественной жизни уже не обходилось без меня. Но самое крупное событие в моей жизни, имеющее и сейчас для меня важное значение – это покупка имения. В 1908 году т.е. во втором году по приезде в Аралкалаки, я узнал, что у Аралкалакского гражданина Серитева продается участок земли, находящийся в Уравельском обществе. Мельницу и землю я осмотрел, имение мне понравилось, нашлись добрые люди, которые мне помогли купить это имение и сделка состоялась.

Имение было куплено и мое давнее желание осуществилось. Меня радовала не так сама мельница, как окружающая ее земля, на которой можно было растить сад. С лихорадочной деятельностью я взялся за посадку сада. Первым делом землю эту обвел стеною, потом по плану наметил место для ям, нанял рабочих и в эту же осень выкопал ямы для посадки деревьев. Пока ямы готовили, я выписал из Ростова от садоводства «Бр.

Рамм» разные сорта яблонь, груш, слив, ренклодов, абрикосов, черешен и даже крыжовника и малины. В ноябре этот материал был посажен в ямы, но в саду оставалось еще место, тогда я к весне выписал из Скра от садоводства бр. Авсаркисовых остальные – опять яблони, груши, сливы, кизил и т.п. – наконец из Кутаиса от Тьебо выписал скороспелые виноградные лозы и таким образом в течение полугода у меня уже был сад. Сад свой собственный, свой желанный – сколько я здесь работал! Как я радовался, как я был доволен. После этого служба потеряла для меня свое первостепенное значение, уже ослабло желание делать карьеру. С этого времени я стал мечтать о выходе в отставку и ждал только удобного случая. Но этот случай еще не скоро представился. В 1914 году открылась война. Хотя я не получил назначения в Тифлис в полевую почтовую контору, но все же меня не оставили в покое. Мне было предписано заведовать Аралкалак-Ардаганским почтовым трактом. Потом меня перечислили в полевые чиновники и поручили заведывать всеми почтовыми трактами Карсской области и Эриванской губернии. Это был громадный район – от Аралкалак до Ардагана, от Ардагана до Ольты до Карса и от Карса до Эривани, до Каракурта и Караургана, все эти станции находились под моим непосредственным надзором – приходилось разъезжать день и ночь. Время было военное станции приходили в разорение в короткое время, почтосодержатели разорялись, а малейшее упущение каралось строго – по военному времени. Поэтому нельзя было равнодушно относиться к делу, надо было проявить максимум энергии и распорядительности и я, не жалея себя и своего здоровья, ездил, работал, покупал лошадей, покупал фураж, обоз, сбрую и т. под. Одновременно поручили уже ревизовать время от времени и почтовые военные подставы.

Боже! Какая халатность была в этих подставах со стороны некоторых заведовавших! Весь 1915 год и начало 1916 года прошли для меня в кипучей деятельности и скитальческая жизнь порядком надоела. Но труды мои не прошли даром – начальство их оценило и как примерный служака я был назначен в Кутаис – помощником начальника конторы II-го класса, это было хорошее повышение и я рассчитывал после такой беспокойной годовой работы на спокойствие и отдых. Но... когда почтовая кляча может отдохнуть... Пока жива и служит – никогда. Так и со мной случилось. Приехав в Кутаис, я сразу окунулся в такую кипучую работу, что день и ночь не имел покоя. Корреспонденция, особенно посылочная, получалась в невероятном количестве. Каждый день выгружалось несколько товарных вагонов почты с мануфактурой. Всю эту уйму надо было разобрать, рассортировать по адресам, посчитать и документы передать чиновникам для записи в книги. На это уходило у меня времени ежедневно с 9 часов утра до 11-12 часов ночи без перерыва. Это было нечто невероятное – не хватало помещений, не

хватало рабочих рук. Начальство упорно отказывалось добавить штаты, о существующий штат был для такой работы весьма недостаточен. Случалось, что в вагоне не хватало нескольких посылок. Надо было выяснить каких именно и на чье имя, надо было составить акты, наряжать следствие, выяснить причину, заводить переписку и т.д. – и это каждый божий день, редко какой вагон получался в исправном виде. По линиям железных дорог развилось воровство. Пользуясь громадностью работы и невозможностью уследить за всем неблагонадежные элементы стали проявлять свою деятельность. Под конец дела так запутались и приняли такое хаотическое состояние, что не поспей на выручку революция, многих из нас отдали бы под суд. Начальником конторы был Кюммель – человек нервный и измотавшийся от непосильной работы. Не успел я приехать в Кутаис, как всю тяжелую и ответственную работу взвалил мне на плечи и устранил себя. Я проклинал судьбу свою, но ничего не мог сделать, даже в отставку нельзя было уйти, потому что было военное время и отставку давали только самым негодным. Все годные элементы должны были служить. Так продолжалось до февраля 1917 года.

Но вот грянула великая революция. Николай II отрекся от престола, новое временное правительство приняло законы, сократившие пересылку мануфактуры в почтовых посылках и мы свободно вздохнули. В октябре 1916 года приехал на Кавказ Начальник Главного Управления почты и телеграфов Похвиснев. В Кутаисской конторе по поводу этих посылок еще до моего назначения туда дела были очень запутаны, возникла большая переписка между почтовым отделом железных дорог и Кутаисской конторой. Об этом доложили Похвисневу, он нашел виновным Кюммеля и предложил ему уйти в отставку. После этого конторой заведовал уже я и исполнял одновременно обязанности начальника и помощника. Стало еще тяжелее, но как выше спасла нас революция. Весь штат человек в 150 чинов знал о моей невероятной работе, а понесенных мной трудах – месяцев 5-6 я был за начальника, просил неоднократно утвердить меня начальником, но все мои просьбы оказывались гласом вопиющего в пустыне. Хотели назначить туда русского. В грузинском городе – грузину трудно рассчитывать на такое повышение – надо вам сказать, что по моему ходатайству, когда я заведовал конторой, подкрепленными неопровержимыми фактами, контору со второго класса возвели в первый класс, а это довольно большая шишка в почтовом мире. Вот этой шишкой и не хотели делать меня. Отношение мое к подчиненным было самое гуманное и человеческое, мне, прошедшему школу Соколова хорошо помнились те унижения и оскорбления, какие наносил он нам. Поэтому я не мог не чувствовать с отвращением те же обращения Кюммеля к мелким чинам, старался ничем не быть похожим на этих господ и всякий мелкий служащий почтальон или сторож в моих глазах был прежде всего человек. По службе я был не менее

требовательным чем другие начальники, но вне службы я старался быть не больше чем старший товарищ. Это понимали и чувствовали подчиненные, любили и уважали меня и этим я достигал по службе больше, чем те своими прикрикиваниями и тыканиями.

Когда разразилась революция и почтовым чинам была предоставлена свобода, первым актом этой свободы было то, что я единогласно был избран ими своим начальником. Это было так неожиданно для меня и так радостно, что я в это время почитал себя самым счастливым человеком на свете. Меня более всего трогала их любовь и беспредельное уважение ко мне.

Бывали примеры, когда вновь переведенный к нам какой-либо чиновник, видя мое мягкое обхождение, принимал это за мою слабость и начинал манкировать службой и хорохориться. В таких случаях я не торопился сделать ему замечание или выговор – проходило некоторое время, новый член нашей почтовой семьи делался усердным, учтивым, за несколько шагов снимал шапку и кланялся мне. Такой перемене я в первое время удивлялся, но впоследствии я узнал, что все это было дело рук моих подчиненных. Они, заметив нетактичность новичка все как один накидывались на него и требовали, чтоб он или почтительно относился ко мне или оставил бы контору, новичку оставалось только подчиниться. С объявлением свободы в конторе образовались партии, одни были большевиками, другие меньшевиками и федералистами, третьи националистами. Я не принадлежал ни к какой из этих партий. Во время партийных прений часто возникал вопрос обо мне, каждая партия хотела видеть во главе учреждения своего человека.

Но обаяние мое настолько было сильно, настолько я был корректен по отношению ко всем партиям, что когда возникал вопрос о моей личности все опускали руки, ни у одной партии не хватало смелости бросить в меня камнем, все горой стояли за меня и защищали меня даже против окружного начальства, когда последнему пришла в голову мысль заменить меня меньшевиком. Тогда во главе всех учреждений стояли меньшевики. Так прослужил я в Кутаисе четыре года. Семейная жизнь моя за эти четыре года была не особенно благополучна. Жена моя стала болеть все сильнее и сильнее. Кутаисский климат был для нее убийственным, она сильно кашляла и здоровье ее с каждым годом шло на убыль. Поэтому каждое лето и даже зиму она проводила в Абас-Тумане, а я жил с детьми в Кутаисе, при мне жила моя теща, которая заведовала моим хозяйством и смотрела за детьми. За это время Нина кончила гимназию и уже год как училась в Тифлисском политехникуме. Соня была в 6-м классе, Турпа во втором, а Рая и Сандро в приготовительном.

Революция потрясла до основания все стороны жизни, но особенно хозяйственную сторону Грузии. В Кутаисе стал ощущаться голод. Получаемого содержания не стало

хватать, стали питаться Чады и Лобтей. Не хватало сил содержать Тамару в Абыс-Тумане, надо было подумать об улучшении условий жизни и содержания жены в Абыс-Тумане. Служба давно потеряла в моих глазах всякое значение, если я и держался за нее, то исключительно потому, что не решался расстаться с любимыми мной служащими и не хотел обидеть их. Чтобы на мое место не попал ставленник какой-либо партии, они, служащие, держались за меня крепко. Но в конце концов обстоятельства оказались сильнее нас. Как сказано выше, жалованья уже не хватало, у меня были сбережения в Казначействе в процентных бумагах, но получить я их уже не мог – на них было наложено запрещение правительством, а тут требовались расходы. Жена стала настаивать на выходе в отставку – это было и мое затаенное желание, и я в 1920 году в мае месяце вышел в отставку и переехал с семейством в Аранцих. Давно следовало сделать это, и выйди я годом раньше в отставку и живи в Аранцихе, я, может быть, если не спас, то удлинил бы на год-два жизнь Тамары.

Последнее время она стала чувствовать себя все хуже и хуже, повез зимой ее в Тифлис, нанял номер в гостинице на солнечной стороне, стали кормить ее усиленно, но ничего уже не помогало. Привез я ее в Аранцих уже обреченную на смерть. Старый недуг взял свое и через месяц моей дорогой и славной Тамары не стало.

Мы прожили вместе 19 лет. Девятнадцать лет в жизни человека это целая эпоха. Она оставила во мне неизгладимую память, и пока я жив никогда память о Тамаре не изгладится из моего сердца. Слишком она была верная, слишком преданная, слишком любящая, слишком хозяйственная, чтобы можно было забыть ее.

Она умерла и оставила на мое попечение пятерых детей. При мне оставалась теща – мать Тамары, Екатерина Давидовна Мамацева, в последние три-четыре года она жила с нами неразлучно. Не могу не отдать ей дань моего уважения и благодарности, много трудов понесла она в моем доме – ухаживала за больной дочерью, моей женой, и за моими детьми. Почти все мои дети выросли у нее на руках, всех почти она вынянчила и вырастила. Вспомнят ли ее мои дети когда вырастут?

Похоронив Тамару, я остался совершенно удрученным и беспомощным, все мои надежды о сельской жизни, о ведении хозяйства в моем имении, о том, как я хотел поставить дело в своем саду на своей земле – отошли на второй план.

Я стал увлекаться товарищами, дом мне опротивел, стал ходить в духаны, в рестораны, приходил домой часто пьяным. Это продолжалось несколько месяцев. Я заметил, что я опускаюсь, постепенно падаю нравственно. На детей стал мало обращать внимание – редко бывал дома.

Теща, старая женщина, мало образованная, не могла заменить им мать, не могла руководить ими. Надо было подумать о том, чтобы найти детям хорошую руководительницу, которая могла бы заменить им мать и освободить меня от домашних хлопот. Но найти такую хозяйку было очень трудно, а еще – как приняли бы дети мою новую женитьбу, как они отнеслись бы к этой мысли. Нина и Соня были уже взрослые девушки, а у меня были еще трое – Турпа, Рая и Сандро еще маленькие, 12, 9 и 7 лет. Вот эти младшие больше всего нуждались в хорошей руководительнице.

Я решил предоставить самим детям решить этот вопрос, сделать выбор. Однажды я заговорил об этом с моими старшими дочерьми и назвал особу, которую имел в виду сделать моей женой, старшие дочери отнеслись к этой мысли по-видимому сочувственно, указанная мною им особа пришлась им по душе. Особа эта была Нина Иосифовна Чарачхиан, которую они и раньше знали хорошо, потому что в дни своего детства учились у нее в содержимой ею прогимназии. Раз дети одобрили мой выбор, оставалось только сделать шаг. Надо было прозондировать почву – согласится ли Нина Чарачхиан стать моей женой.

Нина и Соня тогда жили у ней на квартире в Тифлисе и хотя были молоды, но настолько проницательны, что сумели дать мне утвердительный ответ. Тогда я поехал в Тифлис и сделал предложение Нине Иосифовне, которое было принято. Вслед за тем было решено, что я поеду обратно в Аранцих к детям, отправлю тещу домой к своему сыну в Тифлис. Мы хотели устранить всякие неприятности. Конечно, теще моей вторичная женитьба моя не могла быть по душе. Она не вынесла бы того положения, что в доме, в котором хозяйничала столько лет ее дочь. Вдруг явится другая особа и будет хозяйничать. Эта мы все замечали и надо было избегать сцен и пощадить тещу. Так и сделали. А Нина Иосифовна по уговору должна была приехать через две недели в Аранцих, где мы должны были обвенчаться. Но увы! По грузинской пословице (написано по-грузински, перевод – «человек предполагает, а бог располагает») вышло наше дело. Нина Иосифовна по моем отъезде стала колебаться, приездом не торопилась, установленный срок давно прошел. На мои письма стала отвечать уклончиво – ни да, ни нет. Вторая дочь Соня сидела в Аранцихе, ей уже давно было пора ехать в Тифлис продолжать учение (она училась там в гимназии и на рождественские праздники приехала в Аранцих, но так как бабушка уехала, ей, как старшей в семье, пришлось остаться за хозяйку до приезда Нины Иосифовны). Но Нина Иосифовна все медлила, все оттягивала день своего приезда и писала мне витиеватые письма, из которых можно было вывести заключение, что она и хочет приехать и не хочет приехать. Такое неопределенное положение наконец надоело. Надо было покончить с неизвестностью, и вот я решил сам поехать в Тифлис и на месте

выяснить дело. Причем было решено, что если колебание ее происходит под влиянием родных, которые быть может отговаривают ее выходить за меня замуж, но сама она искренне желает меня, то употребить все средства и вырвать ее из-под влияния родных и даже похитить ее. Если же сама она раздумала – тогда остается только одно – плюнуть и уехать.

Приехав в Тифлис, я не нашел ни то ни другое. Это была просто трусость ее, а может быть и каприз. Увидав меня, она сразу откинула все колебания и мы решили на второй или на третий день выехать.

Подозревала ли она тогда, какую гибель готовила мне своей нерешительностью и своим желанием заставить меня приехать за нею во второй раз. Конечно – нет, но что случилось со мною впоследствии, пока она жива или я жив никогда не забудется. Если бы она предвидела это, то скорее бы умерла чем допустила, в этом я уверен, но по пословице – чему быть, тому не миновать. Это должно было случиться и это случилось. Но, Нина Иосифовна! Тут была твоя вина и моя и за свою вину я несу этот крест на всю жизнь, а каково тебе не знаю, но не легче чем мне, я уверен. Но дальше. Из Тифлиса выехали мы с большим трудом, поезда были переполнены публикой, едва достали билеты и места в вагонах, давка была ужаснейшая. Когда поезд остановился в Михайлове и мы вышли из вагона для пересадки на боржомский поезд, я облегченно вздохнул – мучения наши кончились и мы свободно могли ехать. Но тут-то и подстерегала меня неумолимая судьба.

Выйдя на платформу в клозет для естественной надобности. Приподнял пальто. В кармане которого был у меня револьвер – последний выпал из кармана, ударился об асфальт, раздался выстрел – и пуля попала мне же в ногу ниже колена в мягкую часть. Первоначально я не придавал этому случаю большого значения, надеясь поправиться в несколько дней, но прошло восемь дней, меня перевязали доктора, потом костоправы, но болезнь все сильнее и сильнее захватывала меня, нога посинела и опухла, тогда только понял я и другие меня окружающие. Что рана серьезная и что я погибаю. Надо было спешить в Тифлис в больницу. С большим трудом удалось упротиться в почтовом вагоне. Спасибо бывшему начальнику округа Мчеладзе, несмотря на то, что я был в отставке, он все же разрешил перевезти в почтовом вагоне. Приехали в Тифлис в Михайловскую больницу. Осмотрев меня, доктора решили, что надо ампутировать ногу. Это было для меня большим ударом, но делать было нечего. Когда меня понесли на ампутацию, было около 9-10 часов утра, но так как у меня была повышенная температура, в глазах у меня горели лампы. Как у меня отрезали ногу, я не знаю, меня усыпили. Очнулся я только через несколько часов и скоро опять впал в забвение.

Четыре месяца пролежал в Тифлисе в больнице и на квартире, пока зажила рана и я поправился. За это время, в феврале, произошла советизация Грузии. Приехали в Аранчих в апреле. Дети мои приняли Н.И. с радостью, но нога моя, то есть отсутствие одной ноги у меня сильно опечалило их. В том же году, в июне, пришлось вновь поехать в Тифлис за искусственной ногой – протезом, который мы заказали еще будучи в Тифлисе. С тех пор я хромым и одноногий инвалид. Прошло 4 года; за это время, именно в 23 году, старшая дочь Нина вышла замуж, осенью того же года вторая дочь Соня поехала в Москву и тоже вышла замуж. Третья дочь, младшая – Рая, в этом 1925 году в январе, шестнадцатилетняя девочка сделала, по моему мнению, глупость и сошлась по Загсу с одним своим же комсомольцем, который в нее был безумно влюблен. Жена моя Н.И. уехала в Тифлис повидаться с родными и полечиться. Третий месяц ее нет, приедет или нет – не знаю. Вообще это какое-то изломанное, исковерканное существо, сильно поддается влиянию других, особенно родных и весьма возможно, что ее уговорят не ехать – развестись со мною, остаться в Тифлисе и, или найти службу, или выйти замуж за другого. Любили ли мы друг друга? Да, я, насколько это возможно в мои 57 лет. И скучно и грустно без нее. Несмотря на все ее недостатки я был бы очень рад, если бы она приехала. Любит ли она меня – не знаю, мы 4 года прожили вместе и все-таки не поняли друг друга. Сейчас при мне третья моя дочь Турпа и сын Сандро, единственные близкие и дорогие мне существа.

Жена Н.И. наконец приехала. Мы переехали из города в село, т.е. на мельницу, и обосновались навсегда. Мельницу мы добровольно сдали сельсовету, вошли в колхоз Енчикев, а потом, по выселении татар, перешли в колхоз Андроцелиани.

* * *

1955 год, май. Прошло много лет после предыдущей записи. Мне сейчас 88-й год. Но, надо признаться, с 1952 года, т.е. когда мне исполнилось от роду 85 лет, жизнь для меня потеряла всякое достоинство. Собственно, я не знаю, зачем я торчу в этой глуши. Дочь моя Соня давно зовет меня к себе в Ленинград.

* * *

Свершилось! С 1-го декабря 1957 года я в Ленинграде! Наконец-то вырвавшись из медвежьего угла, но увы! - поздно, очень поздно. А случилось это вот как: осенью 55-го октября жену мою Н.И. постиг паралич, она лишилась с правой стороны руки и ноги. С этого же времени переселилась к нам Даро. Условились жить вместе одной семьей и

пользоваться сообщая поим приусадебным участком и тем, что Даро получит за свои тр./дни от колхоза, а что касается имущества моего и ее, то оно останется в общем пользовании, но пока мы, старики, живы, в моем распоряжении – мое и в ее распоряжении ее – можно свободно продать, обменять и т. под., а если разойдемся, то каждый – свое берет. Но случись, что не разошедшись помрем мы старики – все остается в пользу Даро. Это был словесный уговор – Даро оказалась бесхарактерной и жадной. Ко всему, слишком рано захотела завладеть всем – ухаживать за Ниной Иосифовной, моей женой, с четвертого месяца отказалась. Сказав, что она брезгливая и выносить ее горшки не может. Уход за больной женой постепенно и понемногу перешел ко мне, к человеку, который сам нуждался в уходе. Пришлось написать Соне, которая приехала и забрала Н.И. Хотела и меня взять, но я отказался поехать. Почему? Если глубоко анализировать причину, много пришлось бы писать. Достаточно сказать, что во-первых, полжизни прожил я здесь, во-вторых, все мои сбережения, начиная с молодых лет, были вложены в это имение, в-третьих, весь сад, хоть он теперь не принадлежал мне, был посажен и выращен моими руками. Чистый воздух, чистая вода, спокойная жизнь... Но увы!!! – вот эта жизнь спокойная и пропала для меня с отъездом жены в Ленинград. Очень не хотелось уезжать, но был вынужден – этим и еще многими другими причинами – начался медленный грабеж дома. Да, надо сказать, что весной 1956 года у Даро умерла в деревне мать. Дом матери остался почти без присмотра, если не считать Еце – дегенератка, полоумная девица 40 лет. Одним словом, создалось такое положение у Даро. На следующий год после прихода к нам, что волей-неволей приходилось уходить от нас. Вот мы и разделились – Даро пошла в деревню, я уехал в Ленинград. Написать так легко, но сколько было при этом мерзости, жадности, воровства явного, упреков.

Словом, мы, я и моя жена Нина стали жителями гор. Ленинграда с декабря 57 года. Моя дочь Соня и зять Вася Залого приютили нас до нашей смерти.